

## **Их воскресила любовь...** (выдержки из книги «Преступление и наказание»)

В начале июля один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал. Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру.. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься.

Раскольников не привык к толпе и бежал всякого общества, особенно в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям. Что-то совершалось в нем как бы новое, и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей. Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения, что хотя одну минуту хотелось ему вздохнуть в другом мире, хоть бы в каком бы то ни было, и, несмотря на всю грязь обстановки, он с удовольствием оставался теперь в распивочной.

Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника.. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак, с осыпавшимися пуговицами. Он прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твердо проговорил:

— А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?. Мармеладов — такая фамилия; титулярный советник. Осмелюсь узнать, служить изволили?

— Нет, учусь... — отвечал молодой человек,

— Милостивый государь, — начал он почти с торжественностью, — бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя.

Когда однородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел... (ибо дочь моя по желтому билету живет-с...) — прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством смотря на молодого человека. — Ничего, милостивый государь, ничего! ибо уже всем всё известно и всё тайное становится явным; и не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! пусть! «Се человек!»<sup>1</sup>

... Да-с! Воспитания, как и представить можете, Соня не получила. Теперь же обращусь к вам, милостивый государь мой, сам от себя с вопросом приватным: много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?.. Пятнадцать копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши! А тут ребятишки голодные... А тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают, — что в болезни этой и всегда бывает: «Живешь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься», а что тут пьешь и ешь, когда и ребятишки-то по три дня корки не

---

<sup>1</sup> «Се человек!» — слова Понтия Пилата о Христе, выражающие восхищение его твердостью и терпением (Евангелие от Иоанна, XIX, 5).

видят! Лежал я тогда... ну, да уж что! лежал пьяненькой-с, и слышу, говорит моя Соня (безответная она, и голосок у ней такой кроткий... белокуренькая, личико всегда бледненькое, худенькое), говорит: «Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти?» «А что ж, — отвечает Катерина Ивановна, в пересмешку, — чего беречь? Эко сокровище!» Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не в здравом рассудке сие сказано было, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей не евших, да и сказано более ради оскорбления, чем в точном смысле... И вижу я, эдак часу в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, легла на кровать, лицом к стенке, только плечики да тело всё вздрагивают... А я, как и давеча, в том же виде лежал-с... И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись... обе... обе... да-с... а я... лежал пьяненькой-с.

Мармеладов замолчал, как будто голос у него пресекся. Потом вдруг поспешно налил, выпил и крякнул.

— С тех пор, государь мой, дочь моя, Софья Семеновна, желтый билет принуждена была получить, и уже вместе с нами по случаю сему не могла оставаться. И заходит к нам Сонечка теперь более в сумерки, и Катерину Ивановну облегчает, и средства посильные доставляет... Живет же на квартире у портного Капернауова, квартиру у них снимает,

Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы.— А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить! Хе-хе-хе!

— Неужели дала? — крикнул кто-то со стороны из вошедших, крикнул и захохотал во всю глотку.

— Вот этот самый полуштоф-с на ее деньги и куплен, — произнес Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову. — Тридцать копеек вынесла, своими руками, последние, всё что было, сам видел... Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела... Так не на земле, а там... о людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют!

— Пойдемте, сударь, — сказал вдруг Мармеладов, поднимая голову и обращаясь к Раскольникову, — доведите меня... Дом Козеля, на дворе. Пора... к Катерине Ивановне...

Они вошли со двора и прошли в четвертый этаж.

Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Это была ужасно похудевшая женщина, Она, увидев незнакомого, рассеянно остановилась перед ним,

— О Господи, неужели же он всё пропил! Ведь двенадцать целковых в сундуке оставалось!... О, треклятая жизнь! А вам, вам не стыдно, — вдруг набросилась она на Раскольникова, — из кабака! Ты с ним пил? Ты тоже с ним пил! Вон!

Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с разменянного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко. Потом уже на лестнице он одумался и хотел было воротиться.

«Ну что это за вздор такой я сделал, — подумал он, — тут у них Соня есть, а мне самому надо». Но рассудив, что взять назад уже невозможно и что все-таки он и без того бы не взял, он махнул рукой и пошел на свою квартиру. ... Ай да Соня! Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!»

Он проснулся на другой день уже поздно, желчный, раздражительный, злой и с ненавистью

посмотрел на свою каморку. Письмо матери его измучило. Главнейшая суть дела была решена в его голове и решена окончательно: «Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина!»

«Потому что это дело очевидное, — бормотал он про себя, ухмыляясь и злобно торжествуя заранее успех своего решения. — Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня вам!.. И еще извиняются, что моего совета не попросили и без меня дело решили! Еще бы!

...Ну да уж пусть мамаша, уж Бог с ней, она уж такая, но Дуня-то что? Дунечка, милая, ведь я знаю вас! В чем же штука-то? В чем же разгадка-то? Дело ясное: для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти, себя не продаст, а для другого вот и продает! Для милого, для обожаемого человека продаст!. Пропaday жизнь! Только бы эти возлюбленные существа наши были счастливы. Мало того, свою собственную казуистику выдумаем, у иезуитов научимся и на время, пожалуй, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо, действительно надо для доброй цели. О милые и несправедливые сердца! Да чего: тут мы и от Сонечкина жребия, пожалуй что, не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит! Жертву-то, жертву-то обе вы измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? Понимаете ли вы, что лужинская чистота всё равно, что и Сонечкина чистота, а может быть, даже и хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, все-таки на излишек комфорта расчет, а там просто-запросто о голодной смерти дело идет! ..

Так мучил он себя и поддразнивал этими вопросами, даже с каким-то наслаждением. Впрочем, все эти вопросы были не новые, не внезапные, а старые, наболевшие, давнишние. «Или отказаться от жизни совсем! — вскричал он вдруг в исступлении, — послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе всё, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!»

«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? — вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова, — ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти...»

[...]

Посреди улицы стояла коляска,. Все говорили, кричали, ахали.. Раздавленного предстояло прибрать в часть и в больницу. Никто не знал его имени.

Между тем Раскольников протеснился и нагнулся еще ближе. Вдруг фонарик ярко осветил лицо несчастного; он узнал его.

— Я его знаю, знаю! — закричал он, протискиваясь совсем вперед, — это чиновник, отставной, титулярный советник, Мармеладов! Он здесь живет, подле, в доме Козеля...

Пока еще в больницу тащить, а тут, верно, в доме же доктор есть! Я заплачу, заплачу!..

Раздавленного подняли и понесли;

— Сюда, сюда! На лестницу надо вверх головой вносить; оборачивайте... вот так! Я заплачу, я поблагодарю, — бормотал он.

Катерина Ивановна стояла вся бледная и трудно дышала. Дети перепугались. Маленькая Лидочка вскрикнула, бросилась к Поленьке, обхватила ее и вся затряслась.

— Поля! — крикнула Катерина Ивановна, — беги к Соне, скорее.

В эту минуту умирающий очнулся и простонал,

— Священника! — проговорил он хриплым голосом.

Скоро глаза его остановились на маленькой Лидочке (его любимице), дрожавшей в углу, как в припадке, и смотревшей на него своими удивленными, детски пристальными глазами.

Вошел доктор, аккуратный старичок, немец, озираясь с недоверчивым видом;— Удивительно, как он еще очнулся, — шепнул потихоньку доктор Раскольникову.

— Что вы скажете? — спросил тот.

— Сейчас умрет.

— Неужели никакой надежды?

— Ни малейшей!

Толпа в сенях раздвинулась, и на пороге появился священник с запасными дарами, седой старичок. Все отступили. Исповедь длилась очень недолго. Умиравший вряд ли хорошо понимал что-нибудь; произносить же мог только отрывистые, неясные звуки. Катерина Ивановна взяла Лидочку, сняла со стула мальчика и, отойдя в угол к печке, стала на колени, а детей поставила на колени перед собой. Девочка только дрожала; мальчик же, стоя на голых коленочках, размеренно подымал ручонку, крестился полным крестом и кланялся в землю, стучаясь лбом, что, по-видимому, доставляло ему особенное удовольствие. Катерина Ивановна закусывала губы и сдерживала слезы; она тоже молилась. В эту минуту из сеней, сквозь толпу, быстро протеснилась Поленька, бегавшая за сестрой. Она вошла, едва переводя дух от скорого бега, сняла с себя платок, отыскала глазами мать, подошла к ней и сказала: «Идет! на улице встретила!» Мать пригнула ее на колени и поставила подле себя. Из толпы, неслышно и робко, протеснилась девушка, и странно было ее внезапное появление в этой комнате, среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаяния. Она была тоже в лохмотьях; наряд ее был грошовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире, с ярко и позорно выдающеюся целью. Соня остановилась в сенях у самого порога, но не переходила за порог и глядела как потерянная. Она была малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми глазами. Она пристально смотрела на постель, на священника; она тоже задыхалась от скорой ходьбы. Исповедь и причащение кончились.

Мармеладов был в последней агонии; он не отводил своих глаз от лица Катерины Ивановны, склонившейся снова над ним. Ему всё хотелось что-то ей сказать; но в ту же минуту блуждающий взгляд его упал на дверь, и он увидел Соню...

— Кто это? Кто это? — проговорил он вдруг хриплым задыхающимся голосом.

Ни разу еще он не видал ее в таком костюме. Вдруг он узнал ее, приниженную, убитую, расфранченную и стыдящуюся, смиренно ожидающую своей очереди проститься с умирающим отцом. Бесконечное страдание изобразилось в лице его.

— Соня! Дочь! Прости! — крикнул он и хотел было протянуть к ней руку, но, потеряв опору, сорвался и грохнулся с дивана, прямо лицом наземь; бросились поднимать его, положили, но он уже отходил. Соня слабо вскрикнула, подбежала, обняла его и так и замерла в этом объятии. Он умер у нее в руках.

— Умер, — отвечал Раскольников. — Был доктор, был священник, всё в порядке.

Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке и, не сознавая того, полный одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение.<sup>2</sup> На половине лестницы нагнал его возвращавшийся домой священник; Раскольников молча пропустил его вперед, разменявшись с ним безмолвным поклоном. Но уже сходя последние ступени, он услышал

---

<sup>2</sup> Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение. — Достоевский вспоминает здесь о собственных переживаниях и переживаниях своих товарищей, осужденных по делу петрашевцев. 22 декабря 1849 году на Семеновском плацу в Петербурге им был зачитан смертный приговор и они были приготовлены к расстрелу, после чего смертный приговор им был заменен каторгой.

вдруг поспешные шаги за собою. Кто-то догонял его. Это была Поленька; она бежала за ним и звала его:

— Послушайте, как вас зовут?.. а еще: где вы живете? — спросила она торопясь, задыхающимся голосом.

Он положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее. Ему так приятно было на нее смотреть, — он сам не знал почему.

— А кто вас прислал?

— А меня прислала сестрица Соня, — отвечала девочка, еще веселее улыбаясь.

— Любите вы сестрицу Соню?

— Я ее больше всех люблю! — с какою-то особенною твердостью проговорила Поленька, и улыбка ее стала вдруг серьезнее.

— А меня любить будете?

Вместо ответа он увидел приближающееся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спички, руки ее обхватили его крепко-крепко, голова склонилась к его плечу, и девочка тихо заплакала, прижимаясь лицом к нему всё крепче и крепче.

— Папочку жалко! — проговорила она через минуту,

— А молиться вы умеете?

— О, как же, умеем! Давно уже; я, как уж большая, то молюсь сама про себя, а Коля с Лидочкой вместе с мамашей вслух; сперва «Богородицу» прочитают, а потом еще одну молитву: «Боже, прости и благослови сестрицу Соню», а потом еще: «Боже, прости и благослови нашего другого папашу», потому что наш старший папаша уже умер, а этот ведь нам другой, а мы и об том тоже молимся.

— Полечка, меня зовут Родион; помолитесь когда-нибудь и обо мне: «и раба Родиона» — больше ничего.

— Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться, — горячо проговорила девочка и вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его.

Раскольников сказал ей свое имя, дал адрес и обещался завтра же непременно зайти. Девочка ушла в совершенном от него восторге. Был час одиннадцатый, когда он вышел на улицу.

[...]

Раскольников приподнялся и сел на диване.

Он слабо махнул Разумихину, чтобы прекратить целый поток его бессвязных и горячих утешений, обращенных к матери и сестре, взял их обеих за руки и минуты две молча всматривался то в ту, то в другую. Мать испугалась его взгляда. В этом взгляде просвечивалось сильное до страдания чувство, но в то же время было что-то неподвижное, даже как будто безумное. Пульхерия Александровна заплакала.

Авдотья Романовна была бледна; рука ее дрожала в руке брата.

— Ступайте домой... с ним, — проговорил он прерывистым голосом, указывая на Разумихина, — до завтра; завтра всё...

В эту минуту дверь тихо отворилась, и в комнату, робко озираясь, вошла одна девушка. Все обратились к ней с удивлением и любопытством. Раскольников не узнал ее с первого взгляда. Это была Софья Семеновна Мармеладова. Вчера видел он ее в первый раз, но в такую минуту, при такой

обстановке и в таком костюме, что в памяти его отразился образ совсем другого лица. Теперь это была скромно и даже бедно одетая девушка, очень еще молоденькая, почти похожая на девочку, с скромною и приличною манерой, с ясным, но как будто несколько запуганным лицом. На ней было очень простенькое домашнее платьице, на голове старая, прежнего фасона шляпка; только в руках был, повчерашнему, зонтик. Увидав неожиданно полную комнату людей, она не то что сконфузилась, но совсем потерялась, оробела, как маленький ребенок, и даже сделала было движение уйти назад.

— Ах... это вы?... — сказал Раскольников в чрезвычайном удивлении и вдруг сам смутился. — Я вас совсем не ожидал, — заторопился он, останавливая ее взглядом. — Сделайте одолжение, садитесь. Вы, верно, от Катерины Ивановны. Позвольте, не сюда, вот тут сядьте...

Соня села, чуть не дрожа от страха, и робко взглянула на обеих дам. Видно было, что она и сама не понимала, как могла она сесть с ними рядом. Сообразив это, она до того испугалась, что вдруг опять встала и в совершенном смущении обратилась к Раскольникову.

— Я... я... зашла на одну минуту, простите, что вас обеспокоила, — заговорила она, запинаясь. — Я от Катерины Ивановны, а ей послать было некого... А Катерина Ивановна приказала вас очень просить быть завтра на отпевании, утром... за обедней...

Соня запнулась и замолчала.

— Постараюсь непременно непременно, — отвечал Раскольников, привстав тоже и тоже запинаясь и не договаривая... — Сделайте одолжение, садитесь, — сказал он вдруг, — мне надо с вами поговорить. Пожалуйста, — вы, может быть, торопитесь, — сделайте одолжение, подарите мне две минуты...

И он подвинул ей стул. Соня опять села и опять робко, потерянно, поскорей взглянула на обеих дам и вдруг потупилась.

Бледное лицо Раскольникова вспыхнуло; его как будто всего передернуло; глаза загорелись.

— Маменька, — сказал он твердо и настойчиво, — это Софья Семеновна Мармеладова, дочь того самого несчастного господина Мармеладова, которого вчера в моих глазах раздавили лошади

Соня, услышав рекомендацию, подняла было глаза опять, но смутилась еще более прежнего.

Между разговором Раскольников пристально ее разглядывал. Это было худенькое, совсем худенькое и бледное личико, довольно неправильное, какое-то востренькое, с востреньким маленьким носом и подбородком. Ее даже нельзя было назвать и хорошенькою, но зато голубые глаза ее были такие ясные, и, когда оживлялись они, выражение лица ее становилось такое доброе и простодушное, что невольно привлекало к ней. В лице ее, да и во всей ее фигуре, была сверх того одна особенная характерная черта: несмотря на свои восемнадцать лет, она казалась почти еще девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти ребенком, и это иногда даже смешно проявлялось в некоторых ее движениях.

— Но неужели Катерина Ивановна могла обойтись такими малыми средствами?... — спросил Раскольников, настойчиво продолжая разговор.

— Вы нам всё вчера отдали! — проговорила вдруг в ответ Сонечка, каким-то сильным и скорым шепотом, вдруг опять сильно потупившись. Губы и подбородок ее опять запрыгали. Она давно уже поражена была бедною обстановкой Раскольникова, и теперь слова эти вдруг вырвались сами собой. Последовало молчание. Глаза Дунечки как-то прояснели, а Пульхерия Александровна даже приветливо посмотрела на Соню.

Авдотья Романовна как будто ждала очереди и, проходя вслед за матерью мимо Сони, откланялась ей внимательным, вежливым и полным поклоном. Сонечка смутилась,

— Ну вот и славно! — сказал он Соне, возвращаясь к себе и ясно посмотрев на нее, — упокой Господь мертвых, а живым еще жить! Так ли? Так ли? Ведь так?

Соня даже с удивлением смотрела на внезапно просветлевшее лицо его; он несколько мгновений молча и пристально в нее вглядывался: весь рассказ о ней покойника отца ее пронесся в эту минуту вдруг в его памяти...

— Так я скажу Катерине Ивановне, что вы придете... — заторопилась Соня, откланиваясь, чтоб уйти.

— Сейчас, Софья Семеновна. Я бы хотел вам еще два слова сказать... Вот что, я к вам зайду сегодня же, Софья Семеновна, скажите мне только, где вы живете?

Он не то что сбивался, а так, как будто торопился и избегал ее взглядов. Соня дала свой адрес и при этом покраснела.

— Софья Семеновна? Кстати: как вы меня отыскали? — спросил он, как будто желая сказать ей что-то совсем другое. Ему всё хотелось смотреть в ее тихие, ясные глаза, и как-то это всё не так удавалось...

— Да ведь вы Полечке вчера адрес сказали.

— Поля? Ах да... Полечка! Это... маленькая... это ваша сестра? Так я ей адрес дал?

— Да разве вы забыли?

— Нет... помню...

— А я об вас еще от покойника тогда же слышала... Только не знала тогда еще вашей фамилии, да и он сам не знал... А теперь пришла... и как узнала вчера вашу фамилию... то и спросила сегодня: тут господин Раскольников где живет?... И не знала, что вы тоже от жильцов живете... Прощайте-с... Я Катерине Ивановне...

Она ужасно рада была, что наконец ушла; пошла потупясь, торопясь, чтобы поскорей как-нибудь уйти у них из виду, чтобы пройти как-нибудь поскорей эти двадцать шагов до поворота направо в улицу и остаться наконец одной, и там, идя, спеша, ни на кого не глядя, ничего не замечая, думать, вспоминать, соображать каждое сказанное слово, каждое обстоятельство. Никогда, никогда она не ощущала ничего подобного. Целый новый мир неведомо и смутно сошел в ее душу. Она припомнила вдруг, что Раскольников сам хотел к ней сегодня зайти, может, еще утром, может, сейчас!

— Только уж не сегодня, пожалуйста, не сегодня! — бормотала она с замиранием сердца, точно кого-то упрашивая, как ребенок в испуге. — Господи! Ко мне... в эту комнату... он увидит... о Господи!

[...]

Когда Раскольников пришел к своему дому, виски его были смочены потом и дышал он тяжело. Поспешно поднялся он по лестнице, вошел в незапертую квартиру свою и тотчас же заперся на крюк.

«Мать, сестра, как любил я их! Отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить... Давеча я подошел и поцеловал мать, я помню... Обнимать и думать, что если б она узнала, то... разве сказать ей тогда? ...Бедная Лизавета! Зачем она тут подвернулась!.. Странно, однако ж, почему я об ней почти и не думаю, точно и не убивал?... Лизавета! Соня! Бедные, кроткие, с глазами кроткими... Милые!.. Зачем они не плачут? Зачем они не стонут?... Они всё отдают... глядят кротко и тихо... Соня, Соня! Тихая Соня!..»

Он забылся; странным показалось ему, что он не помнит, как мог он очутиться на улице.

[...]

Он пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня.

— Кто тут? — тревожно спросил женский голос.

— Это я... к вам, — ответил Раскольников и вошел в крошечную переднюю. Тут, на продавленном стуле, в искривленном медном подсвечнике, стояла свеча.

— Это вы! Господи! — слабо вскрикнула Соня и стала как вкопанная.

— Куда к вам? Сюда?

И Раскольников, стараясь не глядеть на нее, поскорей прошел в комнату.

Через минуту вошла со свечой и Соня, поставила свечу и стала сама перед ним, совсем растерявшаяся, вся в невыразимом волнении и, видимо, испуганная его неожиданным посещением. Вдруг краска бросилась в ее бледное лицо, и даже слезы выступили на глазах... Ей было и тошно, и стыдно, и сладко... Раскольников быстро отвернулся и сел на стул к столу. Мельком успел он охватить взглядом комнату.

Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели. В углу, направо, находилась кровать; подле нее, ближе к двери, стул. Бедность была видимая; даже у кровати не было занавесок.

Соня молча смотрела на своего гостя, так внимательно и бесцеремонно осматривавшего ее комнату, и даже начала, наконец, дрожать в страхе, точно стояла перед судьей и решителем своей участи.

— Я поздно... Одиннадцать часов есть? — спросил он, всё еще не подымая на нее глаз.

— Есть, — пробормотала Соня. — Ах да, есть! — заторопилась она вдруг, как будто в этом был для нее весь исход, — сейчас у хозяев часы пробили... и я сама слышала... Есть.

— Я к вам в последний раз пришел, — угрюмо продолжал Раскольников, хотя и теперь был только в первый, — я, может быть, вас не увижу больше...

— Вы... едете?

— Не знаю... всё завтра... Не в том дело: я пришел одно слово сказать...

Он поднял на нее свой задумчивый взгляд и вдруг заметил, что он сидит, а она всё еще стоит перед ним.

— Что ж вы стоите? Сядьте, — проговорил он вдруг переменявшимся, тихим и ласковым голосом.

Она села. Он приветливо и почти с состраданием посмотрел на нее с минуту.

— Какая вы худенькая! Вон какая у вас рука! Совсем прозрачная. Пальцы как у мертвой.

Он взял ее руку. Соня слабо улыбнулась.

— Я и всегда такая была, — сказала она.

— Когда и дома жили?

— Да.

— Ну, да уж конечно! — произнес он отрывисто, и выражение лица его, и звук голоса опять вдруг переменялись. Он еще раз огляделся кругом.

— Я бы в вашей комнате по ночам боялся, — угрюмо заметил он.



— Хозяева очень хорошие, очень ласковые, — отвечала Соня, всё еще как бы не опомнившись и не сообразившись, — и вся мебель, и всё... всё хозяйское. И они очень добрые, и дети тоже ко мне часто ходят...

— Мне ваш отец всё тогда рассказал. Он мне всё про вас рассказал... И про то, как вы в шесть часов пошли, а в девятом назад пришли, и про то, как Катерина Ивановна у вашей постели на коленях стояла.

Соня смутилась.

— Катерина Ивановна ведь вас чуть не била, у отца-то?

— Ах нет, что вы, что вы это, нет! — с каким-то даже испугом посмотрела на него Соня.

— Так вы ее любите?

— Ее? Да ка-а-ак же! — протянула Соня жалобно и с страданием сложив вдруг руки. — Ах! вы ее... Если б вы только знали. Ведь она совсем как ребенок... Ведь у ней ум совсем как помешан... от горя. А какая она умная была... какая великодушная... какая добрая! Вы ничего, ничего не знаете... ах!

Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь и страдая, и ломая руки. Бледные щеки ее опять вспыхнули, в глазах выразилась мука. Видно было, что в ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотелось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то *ненасытимое* сострадание, если можно так выразиться, изобразилось вдруг во всех чертах лица ее.

— Била! Да что вы это! Господи, била! А хоть бы и била, так что ж! Ну так что ж? Вы ничего, ничего не знаете... Это такая несчастная, ах, какая несчастная! И больная... Она справедливости ищет... Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть, и требует...

— А с вами что будет?

Соня посмотрела вопросительно.

— Они ведь на вас остались. Оно, правда, и прежде всё было на вас, и покойник на похмелье к вам же ходил просить. Ну, а теперь вот что будет?

— Не знаю, — грустно произнесла Соня.

— Они там останутся?

— Не знаю, они на той квартире должны; только хозяйка, слышно, говорила сегодня, что отказать хочет, а Катерина Ивановна говорит, что и сама ни минуты не останется.

— С чего ж это она так храбрится? На вас надеется?

— Ах нет, не говорите так!.. Мы одно, заодно живем, — вдруг опять взволновалась и даже раздражилась Соня, точь-в-точь как если бы рассердилась канарейка или какая другая маленькая птичка. — Да и как же ей быть? Ну как же, как же быть? — спрашивала она, горячась и волнуясь. — А сколько, сколько она сегодня плакала! У ней ум мешается, вы этого не заметили? ... Ах, как было жалко смотреть.

— Ну и понятно после того, что вы... так живете, — сказал с горькою усмешкой Раскольников.

— А вам разве не жалко? Не жалко? — вскинулась опять Соня, — ведь вы, я знаю, вы последнее сами отдали, еще ничего не видя. А если бы вы всё-то видели, о Господи! А сколько, сколько раз я ее в слезы вводила! Да на прошлой еще неделе! Ох, я! Всего за неделю до его смерти. Я жестоко поступила! И сколько, сколько раз я это делала. Ах как теперь целый день вспоминать было больно!

Соня даже руки ломала говоря, от боли воспоминания.

— Катерина Ивановна в чахотке, в злой; она скоро умрет, — сказал Раскольников, помолчав и не ответив на вопрос.

— Ох, нет, нет, нет! — И Соня бессознательным жестом схватила его за обе руки, как бы упрасывая, чтобы нет.

— Да ведь это ж лучше, коль умрет.

— Нет, не лучше, не лучше, совсем не лучше! — испуганно и безотчетно повторяла она.

Раскольников встал и начал ходить по комнате. Прошло с минуту. Соня стояла, опустив руки и голову, в страшной тоске.

— А копить нельзя? На черный день откладывать? — спросил он, вдруг останавливаясь перед ней.

— Нет, — прошептала Соня.

— Разумеется, нет! А пробовали? — прибавил он чуть не с насмешкой.

— Пробовала.

— И сорвалось! Ну, да разумеется! Что и спрашивать!

И опять он пошел по комнате. Еще прошло с минуту.

— Не каждый день получаете-то?

Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей опять в лицо.

— Нет, — прошептала она с мучительным усилием.

— С Полечкой, наверно, то же самое будет, — сказал он вдруг.

— Нет! нет! Не может быть, нет! — как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. — Бог, Бог такого ужаса не допустит!..

— Других допускает же.

— Нет, нет! Ее Бог защитит, Бог!.. — повторяла она, не помня себя.

— Да, может, и Бога-то совсем нет, — с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее.

Лицо Сони вдруг страшно изменилось: по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить и только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо.

— Вы говорите, у Катерины Ивановны ум мешается; у вас самой ум мешается, — проговорил он после некоторого молчания.

Прошло минут пять. Он всё ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец подошел к ней; глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали... Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно, он смотрел как совсем сумасшедший.

— Что вы, что вы это? Передо мной! — пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжало вдруг ей сердце.

Он тотчас же встал.

— Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился, — как-то дико произнес

он и отошел к окну. — Слушай, — прибавил он, воротившись к ней через минуту, — я давеча сказал одному обидчику, что он не стоит одного твоего мизинца... и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с тобою.

— Ах, что вы это им сказали! И при ней? — испуганно вскрикнула Соня, — сидеть со мной! Честь! Да ведь я... бесчестная... я великая, великая грешница! Ах, что вы это сказали!

— Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя, а за великое страдание твое. А что ты великая грешница, то это так, — прибавил он почти восторженно, — а пуще всего, тем ты грешница, что *понапрасну* умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас! Еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама (только стоит глаза раскрыть), что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь! Да скажи же мне наконец, — проговорил он, почти в исступлении, — как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!

— А с ними-то что будет? — слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как бы вовсе и не удивившись его предложению. Раскольников странно посмотрел на нее.

Он всё прочел в одном ее взгляде. Стало быть, действительно у ней самой была уже эта мысль. Может быть, много раз и серьезно обдумывала она в отчаянии, как бы разом покончить, и до того серьезно, что теперь почти и не удивилась предложению его. Даже жестокости слов его не заметила (смысла укоров его и особенного взгляда его на ее позор она, конечно, тоже не заметила, и это было видимо для него). Но он понял вполне, до какой чудовищной боли истерзала ее, и уже давно, мысль о бесчестном и позорном ее положении. Что же, что же бы могло, думал он, по сих пор останавливать решимость ее покончить разом? И тут только понял он вполне, что значили для нее эти бедные, маленькие дети-сироты и эта жалкая, полусумасшедшая Катерина Ивановна, с своею чахоткой и со стуканием об стену головою.

Но тем не менее ему опять-таки было ясно, что Соня с своим характером и с тем все-таки развитием, которое она получила, ни в каком случае не могла так оставаться. Все-таки для него составляло вопрос: почему она так слишком уже долго могла оставаться в таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах была броситься в воду? Что же поддерживало ее? Не разврат же? Ведь этот позор, очевидно, коснулся ее только механически; настоящий разврат еще не проник ни одною каплей в ее сердце: он это видел; она стояла перед ним наяву...

«Ей три дороги, — думал он: — броситься в канаву, попасть в сумасшедший дом, или... или, наконец, броситься в разврат, одурманивающий ум и окаменяющий сердце». Последняя мысль была ему всего отвратительнее; но он был уже скептик, он был молод, отвлечен и, стало быть, жесток, а потому и не мог не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее.

«Но неужели ж это правда, — воскликнул он про себя, — неужели ж и это создание, еще сохранившее чистоту духа, сознательно втянется наконец в эту мерзкую, смрадную яму? Неужели это втягивание уже началось, и неужели потому только она и могла вытерпеть до сих пор, что порок уже не кажется ей так отвратительным? Нет, нет, быть того не может! — восклицал он, как давеча Соня, — нет, от канавы удерживала ее до сих пор мысль о грехе, и *они, те...* Если же она до сих пор еще не сошла с ума... Но кто же сказал, что она не сошла уже с ума? Разве она в здравом рассудке? Разве так можно говорить, как она? Разве в здравом рассудке так можно рассуждать, как она? Разве так можно сидеть над погибелью, прямо над смрадною ямой, в которую уже ее втягивает, и махать руками, и уши затыкать, когда ей говорят об опасности? Что она, уж не чуда ли ждет? И наверно так. Разве всё это не признаки помешательства?»

Он с упорством остановился на этой мысли. Этот исход ему даже более нравился, чем всякий

другой. Он начал пристальнее всматриваться в нее.

— Так ты очень молишься Богу-то, Соня? — спросил он ее.

Соня молчала, он стоял подле нее и ждал ответа.

— Что ж бы я без Бога-то была? — быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку.

«Ну, так и есть!» — подумал он.

— А тебе Бог что за это делает? — спросил он, выпытывая дальше.

Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. Слабенькая грудь ее вся колыхалась от волнения.

— Молчите! Не спрашивайте! Вы не стойте!.. — вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на него.

«Так и есть! так и есть!» — повторял он настойчиво про себя.

— Всё делает! — быстро прошептала она, опять потупившись.

«Вот и исход! Вот и объяснение исхода!» — решил он про себя, с жадным любопытством рассматривая ее.

С новым, странным, почти болезненным, чувством всматривался он в это бледное, худое и неправильное угловатое личико, в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнем, таким суровым энергическим чувством, в это маленькое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева, и всё это казалось ему более и более странным, почти невозможным. «Юродивая! юродивая!» — твердил он про себя.

На комодке лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперед, замечал ее; теперь же взял и посмотрел. Это был Новый Завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете.

— Это откуда? — крикнул он ей через комнату. Она стояла всё на том же месте, в трех шагах от стола.

— Мне принесли, — ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него.

— Кто принес?

— Лизавета принесла, я просила.

«Лизавета! Странно!» — подумал он. Всё у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее, с каждой минутой. Он перенес книгу к свече и стал перелистывать.

— Где тут про Лазаря? — спросил он вдруг.

Соня упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к столу.

— Про воскресение Лазаря где? Отыщи мне, Соня.

Она искоса глянула на него.

— Не там смотрите... в четвертом евангелии... — сурово прошептала она, не подвигаясь к нему.

— Найди и прочти мне, — сказал он, сел, облокотился на стол, подпер рукой голову и угрюмо уставился в сторону, приготовившись слушать.

«Недели через три на седьмую версту, милости просим! Я, кажется, сам там буду, если еще хуже не будет», — бормотал он про себя.

Соня нерешительно ступила к столу, недоверчиво выслушав странное желание Раскольникова.

Впрочем, взяла книгу.

— Разве вы не читали? — спросила она, глянув на него через стол, исподлобья. Голос ее становился всё суровее и суровее.

— Давно... Когда учился. Читай!

— А в церкви не слышали?

— Я... не ходил. А ты часто ходишь?

— Н-нет, — прошептала Соня.

Раскольников усмехнулся.

— Понимаю... И отца, стало быть, завтра не пойдешь хоронить?

— Пойду. Я и на прошлой неделе была... панихиду служила.

— По ком?

— По Лизавете. Ее топором убили.

Нервы его раздражались всё более и более. Голова начала кружиться.

— Ты с Лизаветой дружна была?

— Да... Она была справедливая... она приходила... редко... нельзя было. Мы с ней читали и... говорили. Она Бога узрит.

Странно звучали для него эти книжные слова, и опять новость: какие-то таинственные сходки с Лизаветой, и обе — юродивые.

«Тут и сам станешь юродивым! Заразительно!» — подумал он. — Читай! — воскликнул он вдруг настойчиво и раздражительно.

Соня всё колебалась. Сердце ее стучало. Не смела как-то она ему читать. Почти с мучением смотрел он на «несчастную помешанную».

— Зачем вам? Ведь вы не веруете?.. — прошептала она тихо и как-то задыхаясь.

— Читай! Я так хочу! — настаивал он, — читала же Лизавете!

Соня развернула книгу и отыскивала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она, и всё не выговаривалось первого слога.

«Был же болен некто Лазарь, из Вифании...» — произнесла она наконец, с усилием, но вдруг, с третьего слова, голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло, и в груди стеснилось.

Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решалась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать всё *свое*. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, *тайну* ее, может быть еще с самого отрочества, еще в семье, подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь, и узнал наверно, что хоть и тосковала она и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно *ему* чтоб он слышал, и непременно *теперь* — «что бы там ни вышло потом!»... Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения... Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресекающую в начале стиха ее голос, и продолжала чтение одиннадцатой главы Евангелия Иоаннова. Так дочла она до 19-

го стиха:

«И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услыша, что идет Иисус, пошла навстречу ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог».

Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос...

«Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день. Иисус сказал ей: *Я есмь воскресение и жизнь*; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему (и как бы с болью переводя дух, Соня раздельно и с силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала): Так, Господи! Я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».

Она было остановилась, быстро подняла было на *него* глаза, но поскорей пересилила себя и стала читать далее. Раскольников сидел и слушал неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол и смотря в сторону. Дочли до 32-го стиха.

«Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его; и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам восскорбел духом и возмутился. И сказал: где вы положили его? Говорят ему: Господи! поди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как Он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтоб и этот не умер?»

Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее: да, так и есть! Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе: «не мог ли сей, отверзший очи слепому...» — она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют... «И *он, он* — тоже ослепленный и неверующий, — он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же», — мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания.

«Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: Господи! уже смердит; ибо *четыре* дни, как он во гробе».

Она энергично ударила на слово: *четыре*.

«Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав сие, воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. *И вышел умерший*, (громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы в очию сама видела): обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами; и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его; пусть идет. *Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него*».

Далее она не читала и не могла читать, закрыла книгу и быстро встала со стула.

— Всё об воскресении Лазаря, — отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской

комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Прошло минут пять или более.

— Я о деле пришел говорить, — громко и нахмурившись проговорил вдруг Раскольников, встал и подошел к Соне. Та молча подняла на него глаза. Взгляд его был особенно суров, и какая-то дикая решимость выражалась в нем.

— Я сегодня родных бросил, — сказал он, — мать и сестру. Я не пойду к ним теперь. Я там всё разорвал.

— Зачем? — как ошеломленная спросила Соня. Давешняя встреча с его матерью и сестрой оставила в ней необыкновенное впечатление, хотя и самой ей неясное. Известие о разрыве выслушала она почти с ужасом.

— У меня теперь одна ты, — прибавил он. — Пойдем вместе... Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдем!

Глаза его сверкали. «Как полоумный!» — подумала в свою очередь Соня.

— Куда идти? — в страхе спросила она и невольно отступила назад.

— Почему ж я знаю? Знаю только, что по одной дороге, наверно знаю, — и только. Одна цель!

Она смотрела на него, и ничего не понимала. Она понимала только, что он ужасно, бесконечно несчастен.

— Никто ничего не поймет из них, если ты будешь говорить им, — продолжал он, — а я понял. Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел.

— Не понимаю... — прошептала Соня.

— Потом поймешь. Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила... смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... *свою* (это всё равно!). Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на Сенной... Но ты выдержать не можешь, и если останешься *одна* сойдешь с ума, как и я. Ты уж и теперь как помешанная; стало быть, нам вместе идти, по одной дороге! Пойдем!

— Зачем? Зачем вы это! — проговорила Соня, странно и мятежно взволнованная его словами.

— Зачем? Потому что так нельзя оставаться — вот зачем! Надо же, наконец, рассудить серьезно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что Бог не допустит! Ну что будет, если в самом деле тебя завтра в больницу свезут? Та не в уме и чахоточная, умрет скоро, а дети? Разве Полечка не погибнет? Неужели не видала ты здесь детей, по углам, которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратен и вор. А ведь дети — образ Христов: «Сих есть Царствие Божие».<sup>3</sup> Он велел их чтить и любить, они будущее человечество...

— Что же, что же делать? — истерически плача и ломая руки повторяла Соня.

— Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя! Что? Не понимаешь? После поймешь... Свободу и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель! Помни это! Это мое тебе напутствие! Может, я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про всё сама, и тогда припомни эти теперешние слова. И когда-нибудь, потом, через годы, с жизнью, может, и поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай!

Соня вся вздрогнула от испуга.

---

<sup>3</sup> «Сих есть Царствие Божие» — цитата из Евангелия от Матфея, V, 10 (слова из Нагорной проповеди).

— Да разве вы знаете, кто убил? — спросила она, леденя от ужаса и дико смотря на него.

— Знаю и скажу... Тебе, одной тебе! Я тебя выбрал. Я не прощения приду просить к тебе, я просто скажу. Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе, еще тогда, когда отец про тебя говорил и когда Лизавета была жива, я это подумал. Прощай. Руки не давай. Завтра!

Он вышел. Соня смотрела на него как на помешанного; но она и сама была как безумная и чувствовала это. Голова у ней кружилась. «Господи! как он знает, кто убил Лизавету? Что значили эти слова? Страшно это!» Но в то же время *мысль* е приходила ей в голову. Никак! Никак!.. «О, он должен быть ужасно несчастен!.. Он бросил мать и сестру. Зачем? Что было? И что у него в намерениях? Что это он ей говорил? Он ей поцеловал ногу и говорил... говорил (да, он ясно это сказал), что без нее уже жить не может... О господи!»

В лихорадке и в бреду провела всю ночь Соня. Она вскакивала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадочным сном, и ей снились Полечка, Катерина Ивановна, Лизавета, чтение Евангелия и он... он, с его бледным лицом, с горящими глазами... Он целует ей ноги, плачет... О Господи!

Когда на другое утро, ...Он сидел на диване, свесив вниз голову, облокотясь на колени и закрыв руками лицо. Нервная дрожь продолжалась еще во всем его теле. Наконец он встал, взял фуражку, подумал и направился к дверям.

Ему как-то предчувствовалось, что, по крайней мере на сегодняшний день, он почти наверное может считать себя безопасным. Вдруг в сердце своем он ощутил почти радость ...

«А теперь пора и мне! — подумал Раскольников. — Ну-тка, Софья Семеновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить!»

И он отправился на квартиру Сони: он *должен был* объявить ей, кто убил Лизавету, и предчувствовал себе страшное мучение, и точно отмахивался от него руками. Но странно случилось с ним. Когда он дошел до квартиры Капернаумова, то почувствовал в себе внезапное обессиление и страх. В раздумье остановился он перед дверью с странным вопросом: «Надо ли сказывать, кто убил Лизавету?» Вопрос был странный, потому что он вдруг, в то же время, почувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время, невозможно. Он еще не знал, почему невозможно; он только *почувствовал* это, и это мучительное сознание своего бессилия перед необходимостью почти придавило его. Чтоб уже не рассуждать и не мучиться, он быстро отворил дверь и с порога посмотрел на Соню. Она сидела, облокотясь на столик и закрыв лицо руками, но, увидев Раскольникова, поскорей встала и пошла к нему навстречу, точно ждала его.

— Что бы со мной без вас-то было! — быстро проговорила она, сойдясь с ним среди комнаты. Очевидно, ей только это и хотелось поскорей сказать ему. Затем и ждала.

Раскольников прошел к столу и сел на стул, с которого она только что встала. Она стала перед ним в двух шагах, точь-в-точь как вчера.

— Что, Соня? — сказал он и вдруг почувствовал, что голос его дрожит, — ведь всё дело-то упиралось на «общественное положение и сопричастные тому привычки». Поняли вы давеча это?

Страдание выразилось в лице ее.

— Только не говорите со мной как вчера! — прервала она его. — Пожалуйста, уж не начинайте. И так мучений довольно...

Она поскорей улыбнулась, испугавшись, что, может быть, ему не понравится упрек.



— Я сглупа-то оттудова ушла. Что там теперь? Сейчас было хотела идти, да всё думала, что вот... вы зайдете.

Он рассказал ей, что Амалия Ивановна гонит их с квартиры и что Катерина Ивановна побежала куда-то «правды искать».

— Ах, Боже мой! — вскинулась Соня, — пойдите поскорее...

И она схватила свою мантильку.

— Вечно одно и то же! — вскричал раздражительно Раскольников. — У вас только и в мыслях, что они! Побудьте со мной.

— А... Катерина Ивановна?

— А Катерина Ивановна, уж конечно, вас не минует, зайдет к вам сама, коли уж выбежала из дому, — брюзгливо прибавил он. — Коли вас не застанет, ведь вы же останетесь виноваты...

Соня в мучительной нерешимости присела на стул. Раскольников молчал, глядя в землю и что-то обдумывая.

— Положим, Лужин теперь не захотел, — начал он, не взглядывая на Соню. — Ну а если б он захотел или как-нибудь в расчеты входило, ведь он бы упрятал вас в острог-то, не случись тут меня да Лебезятникова! А?

— Да, — сказала она слабым голосом, — да! — повторила она, рассеянно и в тревоге.

— А ведь я и действительно мог не случиться! А Лебезятников, тот уже совсем случайно подвернулся.

Соня молчала.

— Ну а если б в острог, что тогда? Помните, что я вчера говорил?

Она опять не ответила. Тот переждал.

— А я думал, вы опять закричите: «Ах, не говорите, перестаньте!» — засмеялся Раскольников, но как-то с натугой. — Что ж, опять молчание? — спросил он через минуту. — Ведь надо же о чем-нибудь разговаривать? Вот мне именно интересно было бы узнать, как бы вы разрешили теперь один «вопрос», как говорит Лебезятников. (Он как будто начинал путаться). Нет, в самом деле, я серьезно. Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее, знали бы (то есть наверно), что через них погибла бы совсем Катерина Ивановна, да и дети; вы тоже, в придачу (так как вы себя ни за что считаете, так *в придачу*). Полечка также... потому ей та же дорога. Ну-с; так вот: если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали: тому или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне? То как бы вы решили: кому из них умереть? Я вас спрашиваю.

Соня с беспокойством на него посмотрела: ей что-то особенное послышалось в этой нетвердой и к чему-то издали подходящей речи.

— Я уже предчувствовала, что вы что-нибудь такое спросите, — сказала она, пытливо смотря на него.

— Хорошо, пусть; но, однако, как же бы решить-то?

— Зачем вы спрашиваете, чему быть невозможно? — с отвращением сказала Соня.

— Стало быть, лучше Лужину жить и делать мерзости! Вы и этого решить не осмелились?

— Да ведь я Божьего промысла знать не могу... И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего решения

зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?

— Уж как Божий промысл замешается, так уж тут ничего не поделаешь, — угрюмо проворчал Раскольников.

— Говорите лучше прямо, чего вам надобно! — вскричала с страданием Соня, — вы опять на что-то наводите... Неужели вы только затем, чтобы мучить, пришли!

Она не выдержала и вдруг горько заплакала. В мрачной тоске смотрел он на нее. Прошло минут пять.

— А ведь ты права, Соня, — тихо проговорил он наконец. Он вдруг переменялся; выделанно-нахальный и бессильно-вызывающий тон его исчез. Даже голос вдруг ослабел. — Сам же я тебе сказал вчера, что не прощения приду просить, а почти тем вот и начал, что прощения прошу... Это я про Лужина и промысл для себя говорил... Я это прощения просил, Соня...

Он хотел было улыбнуться, но что-то бессильное и недоконченное сказалось в его бледной улыбке. Он склонил голову и закрыл руками лицо.

И вдруг странное, неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. Как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он вдруг поднял голову и пристально поглядел на нее; но он встретил на себе беспокойный и до муки заботливый взгляд ее; тут была любовь; ненависть его исчезла, как призрак. Это было не то; он принял одно чувство за другое. Это только значило, что *та* минута пришла.

Опять он закрыл руками лицо и склонил вниз голову. Вдруг он побледнел, встал со стула, посмотрел на Соню и, ничего не выговорив, пересел машинально на ее постель.

Эта минута была ужасно похожа, в его ощущении, на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из петли топор, и почувствовал, что уже «ни мгновения нельзя было терять более».

— Что с вами? — спросила Соня, ужасно оробевшая.

Он ничего не мог выговорить. Он совсем, совсем не так предполагал *объявить* и сам не понимал того, что теперь с ним делалось. Она тихо подошла к нему, села на постель подле и ждала, не сводя с него глаз. Сердце ее стучало и замирало. Стало невыносимо: он обернул к ней мертво-бледное лицо свое; губы его бессильно кривились, усиливаясь что-то выговорить. Ужас прошел по сердцу Сони.

— Что с вами? — повторила она, слегка от него отстраняясь.

— Ничего, Соня. Не пугайся... Вздор! Право, если рассудить, — вздор, — бормотал он с видом себя не помнящего человека в бреду. — Зачем только тебя-то я пришел мучить? — прибавил он вдруг, смотря на нее. — Право. Зачем? Я всё задаю себе этот вопрос, Соня...

Он, может быть, и задавал себе этот вопрос четверть часа назад, но теперь проговорил в полном бессилии, едва себя сознавая и ощущая непрерывную дрожь во всем своем теле.

— Ох, как вы мучаетесь! — с страданием произнесла она, взглядываясь в него.

— Всё вздор!.. Вот что, Соня (он вдруг отчего-то улыбнулся, как-то бледно и бессильно, секунды на две), — помнишь ты, что я вчера хотел тебе сказать?

Соня беспокойно ждала.

— Я сказал, уходя, что, может быть, прощаюсь с тобой навсегда, но что если приду сегодня, то скажу тебе... кто убил Лизавету.

Она вдруг задрожала всем телом.

— Ну так вот, я и пришел сказать.

— Так вы это в самом деле вчера... — с трудом прошептала она, — почему ж вы знаете? — быстро спросила она, как будто вдруг опомнившись.

Соня начала дышать с трудом. Лицо становилось всё бледнее и бледнее.

— Знаю.

Она помолчала с минуту.

— Нашли, что ли, *его*? — робко спросила она.

— Нет, не нашли.

— Так как же вы про *это* знаете? — опять чуть слышно спросила она, и опять почти после минутного молчания.

Он обернулся к ней и пристально-пристально посмотрел на нее.

— Угадай, — проговорил он с прежнею искривленною и бессильною улыбкой.

Точно конвульсии пробежали по всему ее телу.

— Да вы... меня... что же вы меня так... пугаете? — проговорила она, улыбаясь как ребенок.

— Стало быть, я с *ним* приятель большой... коли знаю, — продолжал Раскольников, неотступно продолжая смотреть в ее лицо, точно уже был не в силах отвести глаз, — он Лизавету эту... убить не хотел... Он ее... убил нечаянно... Он старуху убить хотел... когда она была одна... и пришел... А тут вошла Лизавета... Он тут... и ее убил.

Прошла еще ужасная минута. Оба всё глядели друг на друга.

— Так не можешь угадать-то? — спросил он вдруг, с тем ощущением, как бы бросался вниз с колокольни.

— Н-нет, — чуть слышно прошептала Соня.

— Погляди-ка хорошенько.

И как только он сказал это, опять одно прежнее, знакомое ощущение оледенило вдруг его душу: он смотрел на нее и вдруг, в ее лице, как бы увидел лицо Лизаветы. Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, с совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней: так же бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, всё более и более от него отстраняясь, и всё неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился и ему: точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на нее, и почти даже с тою же *детскою* улыбкой.

— Угадала? — прошептал он наконец.

— Господи! — вырвался ужасный вопль из груди ее. Бессильно упала она на постель, лицом в подушки. Но через мгновение быстро приподнялась, быстро придвинулась к нему, схватила его за обе руки и, крепко сжимая их, как в тисках, тонкими своими пальцами, стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотреть в его лицо. Этим последним, отчаянным взглядом она хотела высмотреть и уловить хоть какую-нибудь последнюю себе надежду. Но надежды не было; сомнения не оставалось никакого; всё было *так*! Даже потом, впоследствии, когда она припоминала эту минуту, ей становилось и странно, и чудно: почему именно она так *сразу* увидела тогда, что нет уже никаких

сомнений? Ведь не могла же она сказать, например, что она что-нибудь в этом роде предчувствовала? А между тем, теперь, только что он сказал ей это, ей вдруг и показалось, что и действительно она как будто *это* самое и предчувствовала.

— Полно, Соня, довольно! Не мучь меня! — страдальчески попросил он.

Он совсем, совсем не так думал открыть ей, но вышло *так*.

Как бы себя не помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до середины комнаты; но быстро воротилась и села опять подле него, почти прикасаясь к нему плечом к плечу. Вдруг, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени.

— Что вы, что вы это над собой сделали! — отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.

Раскольников отшатнулся и с грустной улыбкой посмотрел на нее:

— Странная какая ты, Соня, — обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал *про это*. Себя ты не помнишь.

— Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! — воскликнула она, как в исступлении, не слышав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике.

Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему: две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах.

— Так не оставишь меня, Соня? — говорил он, чуть не с надеждой смотря на нее.

— Нет, нет; никогда и нигде! — вскрикнула Соня, — за тобой пойду, всюду пойду! О Господи!.. Ох, я несчастная!.. И зачем, зачем я тебя прежде не знала! Зачем ты прежде не приходил? О Господи!

— Вот и пришел.

— Теперь-то! О, что теперь делать!.. Вместе, вместе! — повторяла она как бы в забытьи и вновь обнимала его, — в каторгу с тобой вместе пойду! — Его как бы вдруг передернуло, прежняя, ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его.

— Я, Соня, еще в каторгу-то, может, и не хочу идти, — сказал он.

Соня быстро на него посмотрела.

После первого, страстного и мучительного сочувствия к несчастному опять страшная идея убийства поразила ее. В переменившемся тоне его слов ей вдруг послышался убийца. Она с изумлением глядела на него. Ей ничего еще не было известно, ни зачем, ни как, ни для чего это было. Теперь все эти вопросы разом вспыхнули в ее сознании. И опять она не поверила: «Он, он убийца! Да разве это возможно?»

— Да что это! Да где это я стою! — проговорила она в глубоком недоумении, как будто еще не придя в себя, — да как вы, вы, *такой*... могли на это решиться?.. Да что это!

— Ну да, чтоб ограбить. Перестань, Соня! — как-то устало и даже как бы с досадой ответил он.

Соня стояла как бы ошеломленная, но вдруг вскричала:

— Ты был голоден! ты... чтобы матери помочь? Да?

— Нет, Соня, нет, — бормотал он, отвернувшись и свесив голову, — не был я так голоден... я действительно хотел помочь матери, но... и это не совсем верно... не мучь меня, Соня!

Соня всплеснула руками.

— Да неужель, неужель это всё взаправду! Господи, да какая же это правда! Кто же этому может

поверить?.. И как же, как же вы сами последнее отдаете, а убили, чтоб ограбить! А!.. — вскрикнула она вдруг, — те деньги, что Катерине Ивановне отдали... те деньги... Господи, да неужели ж и те деньги...

— Нет, Соня, — торопливо прервал он, — эти деньги были не те, успокойся! Эти деньги мне мать прислала, через одного купца, и получил я их больной, в тот же день, как и отдал... Разумихин видел... он же и получал за меня... эти деньги мои, мои собственные, настоящие мои.

Соня слушала его в недоумении и из всех сил старалась что-то сообразить.

— А *те* деньги... я, впрочем, даже и не знаю, были ли там и деньги-то, — прибавил он тихо и как бы в раздумье, — я снял у ней тогда кошелек с шеи, замшевый... полный, тугой такой кошелек... да я не посмотрел в него; не успел, должно быть... Ну а вещи, какие-то всё запонки да цепочки, — я все эти вещи и кошелек на чужом одном дворе, на В-м проспекте под камень схоронил, на другое же утро. Всё там и теперь лежит.

Соня из всех сил слушала.

— Ну, так зачем же... как же вы сказали: чтоб ограбить, а сами ничего не взяли? — быстро спросила она, хватаясь за соломинку.

— Не знаю... я еще не решил — возьму или не возьму эти деньги, — промолвил он, опять как бы в раздумье, и вдруг, опомнившись, быстро и коротко усмехнулся. — Эх, какую я глупость сейчас сморозил, а?

У Сони промелькнула было мысль: «Не сумасшедший ли?» Но тотчас же она ее оставила: нет, тут другое. Ничего, ничего она тут не понимала!

— Знаешь, Соня, — сказал он вдруг с каким-то вдохновением, — знаешь, что я тебе скажу: если б только я зарезал из того, что голоден был, — продолжал он, упирая в каждое слово и загадочно, но искренно смотря на нее, — то я бы теперь... *счастлив* был! Знай ты это!

— И что тебе, что тебе в том, — вскричал он через мгновение с каким-то даже отчаянием, — ну что тебе в том, если б я и сознался сейчас, что дурно сделал? Ну что тебе в этом глупом торжестве надо мной? Ах, Соня, для того ли я пришел к тебе теперь!

Соня опять хотела было что-то сказать, но промолчала.

— Потому я и звал с собою тебя вчера, что одна ты у меня и осталась.

— Куда звал? — робко спросила Соня.

— Не воровать и не убивать, не беспокойся, не за этим, — усмехнулся он едко, — мы люди разные... И знаешь, Соня, я ведь только теперь, только сейчас понял: куда тебя звал вчера? А вчера, когда звал, я и сам не понимал куда. За одним и звал, за одним приходил: не оставить меня. Не оставишь, Соня?

Она стиснула ему руку.

— И зачем, зачем я ей сказал, зачем я ей открыл! — в отчаянии воскликнул он через минуту, с бесконечным мучением смотря на нее, — вот ты ждешь от меня объяснений, Соня, сидишь и ждешь, я это вижу; а что я скажу тебе? Ничего ведь ты не поймешь в этом, а только истрадаешься вся... из-за меня! Ну вот, ты плачешь и опять меня обнимаешь, — ну за что ты меня обнимаешь? За то, что я сам не вынес и на другого пришел свалить: «страдай и ты, мне легче будет!» И можешь ты любить такого подлеца?

— Да разве ты тоже не мучаешься? — вскричала Соня.

Опять то же чувство волной хлынуло в его душу и опять на миг размягло ее.

— Соня, у меня сердце злое, ты это заметь: этим можно многое объяснить. Я потому и пришел, что зол. Есть такие, которые не пришли бы. А я трус и... подлец! Но... пусть! всё это не то... Говорить теперь надо, а я начать не умею...

Он остановился и задумался.

— Э-эх, люди мы разные! — вскричал он опять, — не пара. И зачем, зачем я пришел! Никогда не прощу себе этого!

— Нет, нет, это хорошо, что пришел! — восклицала Соня, — это лучше, чтоб я знала! Гораздо лучше!

Он с болью посмотрел на нее.

— А что и в самом деле! — сказал он, как бы надумавшись, — ведь это ж так и было! Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил... Ну, понятно теперь?

— Н-нет, — наивно и робко прошептала Соня, — только... говори, говори! Я пойму, я *про себя* всё пойму! — упрашивала она его.

— Поймешь? Ну, хорошо, посмотрим!

Он замолчал и долго обдумывал.

— Штука в том: я задал себе один раз такой вопрос: что если бы, например, на моем месте случился Наполеон и не было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная старушонка, регистраторша, которую еще вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить (для карьеры-то, понимаешь?), ну, так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было? Не покоробился ли бы оттого, что это уж слишком не монументально и... и грешно? Ну, так я тебе говорю, что на этом «вопросе» я промучился ужасно долго, так что ужасно стыдно мне стало, когда я наконец догадался (вдруг как-то), что не только его не покоробило бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально... и даже не понял бы он совсем: чего тут коробиться? И уж если бы только не было ему другой дороги, то задушил бы так, что и пикнуть бы не дал, без всякой задумчивости!.. Ну и я... вышел из задумчивости... задушил... по примеру авторитета... И это точь-в-точь так и было! Тебе смешно? Да, Соня, тут всего смешнее то, что, может, именно оно так и было...

Соне вовсе не было смешно.

— Вы лучше говорите мне прямо... без примеров, — еще робче и чуть слышно попросила она.

Он повернулся к ней, грустно посмотрел на нее и взял ее за руки.

— Ты опять права, Соня. Это всё ведь вздор, почти одна болтовня! Видишь: ты ведь знаешь, что у матери моей почти ничего нет. Сестра получила воспитание, случайно, и осуждена таскаться в гувернантках. Все их надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя в университете не мог и на время принужден был выйти. Если бы даже и так тянулось, то лет через десять, через двенадцать (если б обернулись хорошо обстоятельства) я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником, с тысячько рублями жалованья... (Он говорил как будто заученное). А к тому времени мать высохла бы от забот и от горя, и мне все-таки не удалось бы успокоить ее, а сестра... ну, с сестрой могло бы еще и хуже случиться!.. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и от всего отвертываться, про мать забыть, а сестрину обиду, например, почтительно перенести? Для чего? Для того ль, чтоб, их схоронив, новых нажить — жену да детей, и тоже потом без гроша и без куска оставить? Ну... ну, вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после

университета, — и сделать всё это широко, радикально, так чтоб уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать... Ну... ну, вот и всё... Ну, разумеется, что я убил старуху, — это я худо сделал... ну, и довольно!

В каком-то бессилии дотащился он до конца рассказа и поник головой.

— Ох, это не то, не то, — в тоске восклицала Соня, — и разве можно так... нет, это не так, не так!

— Сама видишь, что не так!.. А я ведь искренно рассказал, правду!

— Да какая ж это правда! О Господи!

— Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную.

— Это человек-то вошь!

— Да ведь и я знаю, что не вошь, — ответил он, странно смотря на нее. — А впрочем, я вру, Соня, — прибавил он, — давно уже вру... Это всё не то; ты справедливо говоришь. Совсем, совсем, совсем тут другие причины!.. Я давно ни с кем не говорил, Соня... Голова у меня теперь очень болит.

Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка бродила на его губах. Сквозь возбужденное состояние духа уже проглядывало страшное бессилие. Соня поняла, как он мучается. У ней тоже голова начинала кружиться. И странно он так говорил: как будто и понятно что-то, но... «но как же! Как же! О Господи!» И она ломала руки в отчаянии.

— Нет, Соня, это не то! — начал он опять, вдруг поднимая голову, как будто внезапный поворот мыслей поразил и вновь возбудил его, — это не то! А лучше... предположи (да! этак действительно лучше!), предположи, что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну... и, пожалуй, еще склонен к сумасшествию. (Уж пусть всё зараз! Про сумасшествие-то говорили прежде, я заметил!) Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Мать прислала бы, чтобы внести, что надо, а на сапоги, платье и на хлеб я бы и сам заработал; наверно! Уроки выходили; по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин! Да я озлился и не захотел. Именно *озлился* (это слово хорошее!). Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела... А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О, как ненавидел я эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел. Нарочно не хотел! По суткам не выходил, и работать не хотел, и даже есть не хотел, всё лежал. Принесет Настасья — поем, не принесет — так и день пройдет; нарочно со зла не спрашивал! Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Надо было учиться, я книги распродаю; а на столе у меня, на записках да на тетрадях, на палец и теперь пыли лежит. Я лучше любил лежать и думать. И всё думал... И всё такие у меня были сны, странные, разные сны, нечего говорить какие! Но только тогда начало мне тоже мерещиться, что... Нет, это не так! Я опять не так рассказываю! Видишь, я тогда всё себя спрашивал: зачем я так глуп, что если другие глупы и коли я знаю уж наверно, что они глупы, то сам не хочу быть умнее? Потом я узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет... Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди, и не переделать их никому, и труда не стоит тратить! Да, это так! Это их закон... Закон, Соня! Это так!.. И я теперь знаю, Соня, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет! Только слепой не разглядит!

Раскольников, говоря это, хоть и смотрел на Соню, но уж не заботился более: поймет она или нет. Лихорадка вполне охватила его. Он был в каком-то мрачном восторге. (Действительно, он слишком долго ни с кем не говорил!) Соня поняла, что этот мрачный катехизис стал его верой и законом.

— Я догадался тогда, Соня, — продолжал он восторженно, — что власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь! У меня тогда одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал! Никто! Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто всё за хвост и стряхнуть к черту! Я... я захотел *осмелиться* и убил... я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина!

— О, молчите, молчите! — вскрикнула Соня, всплеснув руками. — От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!..

— Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне всё представлялось, это ведь дьявол смущал меня? а?

— Молчите! Не смейтесь, богохульник, ничего, ничего-то вы не понимаете! О Господи! Ничего-то, ничего-то он не поймет!

— Молчи, Соня, я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что меня черт тащил. Молчи, Соня, молчи! — повторил он мрачно и настойчиво. — Я всё знаю. Всё это я уже передумал и перешептал себе, когда лежал тогда в темноте... Всё это я сам с собой переспорил, до последней малейшей черты, и всё знаю, всё! И так надоела, так надоела мне тогда вся эта болтовня! Я всё хотел забыть и вновь начать, Соня, и перестать болтать! И неужели ты думаешь, что я как дурак пошел, очертя голову? Я пошел как умник, и это-то меня и сгубило! И неужель ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: имею ль я право власть иметь? — то, стало быть, не имею права власть иметь. Или что если задаю вопрос: вошь ли человек? — то, стало быть, уж не вошь человек *для меня*, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит и кто прямо без вопросов идет... Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы Наполеон или нет? — так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон... Всю, всю муку всей этой болтовни я выдержал, Соня, и всю ее с плеч стряхнуть пожелал: я захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя, для себя одного! Я лгать не хотел в этом даже себе! Не для того, чтобы матери помочь, я убил — вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, всё равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое... Я это всё теперь знаю... Пойми меня: может быть, тою же дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийства. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или *право* имею...

— Убивать? Убивать-то право имеете? — всплеснула руками Соня.

— Э-эх, Соня! — вскрикнул он раздражительно, хотел было что-то ей возразить, но презрительно замолчал. — Не прерывай меня, Соня! Я хотел тебе только одно доказать: что черт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все! Насмеялся он надо мной, вот я к тебе и пришел теперь! Принимай гостя! Если б я не вошь был, то пришел ли бы я к тебе? Слушай: когда я тогда к старухе ходил, я только *попробовать* сходил... Так и знай!

— И убили! Убили!

— Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел! Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел... Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я... Довольно, довольно, Соня, довольно! Оставь меня, — вскричал он вдруг в судорожной тоске, — оставь меня!



Он облокотился на колена и, как в клещах, стиснул себе ладонями голову.

— Экое страдание! — вырвался мучительный вопль у Сони.

— Ну, что теперь делать, говори! — спросил он, вдруг подняв голову и с безобразно искаженным от отчаяния лицом смотря на нее.

— Что делать! — воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг засверкали. — Встань! (Она схватила его за плечо; он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении). Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я убил!» Тогда Бог опять тебе жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь? — спрашивала она его, вся дрожа, точно в припадке, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огненным взглядом.

Он изумился и был даже поражен ее внезапным восторгом.

— Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ль, на себя надо? — спросил он мрачно.

— Страдание принять и искупить себя им, вот что надо.

— Нет! Не пойду я к ним, Соня.

— А жить-то, жить-то как будешь? Жить-то с чем будешь? — восклицала Соня. — Разве это теперь возможно? Ну как ты с матерью будешь говорить? (О, с ними-то, с ними-то что теперь будет!) Да что я! Ведь ты уж бросил мать и сестру. Вот ведь уж бросил же, бросил. О Господи! — вскрикнула она, — ведь он уже это всё знает сам! Ну как же, как же без человека-то прожить! Что с тобой теперь будет!

— Не будь ребенком, Соня, — тихо проговорил он. — В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Всё это один только призрак... Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня!.. Не пойду. И что я скажу: что убил, а денег взять не посмел, под камень спрятал? — прибавил он с едкою усмешкой. — Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут: дурак, что не взял. Трус и дурак! Ничего, ничего не поймут они, Соня, и недостойны понять. Зачем я пойду? Не пойду. Не будь ребенком, Соня...

— Замучаешься, замучаешься, — повторяла она, в отчаянной мольбе простирая к нему руки.

— Я, может, на себя *еще* наклепал, — мрачно заметил он, как бы в задумчивости, — может, я *еще* человек, а не вошь и поторопился себя осудить... Я *еще* поборюсь.

Надменная усмешка выдавливалась на губах его.

— Этакую-то муку нести! Да ведь целую жизнь, целую жизнь!..

— Привыкну... — проговорил он угрюмо и вдумчиво. — Слушай, — начал он через минуту, — полно плакать, пора о деле: я пришел тебе сказать, что меня теперь ищут, ловят...

— Ах! — вскрикнула Соня испуганно.

— Ну, что же ты вскрикнула! Сама желаешь, чтоб я в каторгу пошел, а теперь испугалась? Только вот что: я им не дамся. Я еще с ними поборюсь, и ничего не сделают. Нет у них настоящих улик. Вчера я был в большой опасности и думал, что уж погиб; сегодня же дело поправилось. Все улики их о двух концах, то есть их обвинения я в свою же пользу могу обратить, понимаешь? и обращу; потому я теперь научился... Но в острог меня посадят наверно. Если бы не один случай, то, может, и сегодня бы посадили, наверно, даже, может, *еще* и посадят сегодня... Только это ничего, Соня: посижу, да и выпустят... потому нет у них ни одного настоящего доказательства и не будет, слово даю. А с тем, что у них есть, нельзя упечь человека. Ну, довольно... Я только, чтобы ты знала... С сестрой и с матерью я постараюсь как-нибудь так сделать, чтоб их разуверить и не испугать... Сестра

теперь, впрочем, кажется, обеспечена... стало быть, и мать... Ну, вот и всё. Будь, впрочем, осторожна. Будешь ко мне в острог ходить, когда я буду сидеть?

— О, буду! Буду!

Оба сидели рядом, грустные и убитые, как бы после бури выброшенные на пустой берег одни. Он смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение! Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход; он думал сложить хоть часть своих мук, и вдруг, теперь, когда всё сердце ее обратилось к нему, он вдруг почувствовал и сознал, что он стал беспримерно несчастнее, чем был прежде.

— Соня, — сказал он, — уж лучше не ходи ко мне, когда я буду в остроге сидеть.

Соня не ответила, она плакала. Прошло несколько минут.

— Есть на тебе крест? — вдруг неожиданно спросила она, точно вдруг вспомнила.

Он сначала не понял вопроса.

— Нет, ведь нет? На, возьми вот этот, кипарисный. У меня другой остался, медный, Лизаветин. Мы с Лизаветой крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе. Возьми... ведь мой! Ведь мой! — упрашивала она. — Вместе ведь страдать пойдем, вместе и крест понесем!..

— Дай! — сказал Раскольников. Ему не хотелось ее огорчить. Но он тотчас же отдернул протянутую за крестом руку.

— Не теперь, Соня. Лучше потом, — прибавил он, чтоб ее успокоить.

— Да, да, лучше, лучше, — подхватила она с увлечением, — как пойдешь на страдание, тогда и наденешь. Придешь ко мне, я надену на тебя, помолимся и пойдем.

[...]

Он бродил без цели. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего; но от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность на «аршине пространства». В вечерний час это ощущение обыкновенно еще сильнее начинало его мучить.

Для Раскольникова наступило странное время: точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безвыходное и тяжелое уединение.

О, как ему всё это надоело!

А между тем он все-таки спешил... Соня? Да и зачем бы он пошел теперь к Соне? Опять просить у ней ее слез? Да и страшна была ему Соня. Соня представляла собою неумолимый приговор, решение без перемены. Тут — или ее дорога, или его. Особенно в эту минуту он не в состоянии был ее видеть.

[...]

Когда он вошел к Соне, уже начинались сумерки. Весь день Соня прождала его в ужасном волнении. Она грустно стояла пред окном и пристально смотрела в него, — но в окно это была видна только одна капитальная небеленая стена соседнего дома. Наконец, когда уж она дошла до совершенного убеждения в смерти несчастного, — он вошел в ее комнату.

Радостный крик вырвался из ее груди. Но, взглянув пристально в его лицо, она вдруг побледнела.

— Ну да! — сказал, усмехаясь, Раскольников, — я за твоими крестами, Соня. Сама же ты меня

на перекресток посылала; что ж теперь, как дошло до дела, и струсила?

Соня в изумлении смотрела на него. Странен показался ей этот тон; холодная дрожь прошла было по ее телу, но чрез минуту она догадалась, что и тон, и слова эти — всё было напускное. Он и говорил-то с нею, глядя как-то в угол и точно избегая заглянуть ей прямо в лицо.

— Я, видишь, Соня, рассудил, что этак, пожалуй, будет и выгоднее. Тут есть обстоятельство... Ну, да долго рассказывать, да и нечего. Меня только, знаешь, что злит? Мне досадно, что все эти глупые, зверские хари обступят меня сейчас, будут пялить на меня свои буркалы, задавать мне свои глупые вопросы, на которые надобно отвечать, — будут указывать пальцами... Тьфу! Эх, до чего я дошел! Ну, что же, где кресты?

Он был как бы сам не свой. Он даже и на месте не мог устоять одной минуты, ни на одном предмете не мог сосредоточить внимания; мысли его перескакивали одна через другую, он заговаривался; руки его слегка дрожали.

Соня молча вынула из ящика два креста, кипарисный и медный, перекрестилась сама, перекрестила его и надела ему на грудь кипарисный крестик.

— Это, значит, символ того, что крест беру на себя, хе-хе! И точно, я до сих пор мало страдал! Кипарисный, то есть простонародный; медный — это Лизаветин, себе берешь, — покажи-ка? Так на ней он был... в ту минуту? Я знаю тоже подобных два креста, серебряный и образок. Я их сбросил тогда старушонке на грудь. Вот бы те кстати теперь, право, те бы мне и надеть... А впрочем, вру я всё, о деле забуду; рассеян я как-то!.. Видишь, Соня, — я, собственно, затем пришел, чтобы тебя предупредить, чтобы ты знала... Ну вот и всё... Я только затем ведь и пришел. (Гм, я, впрочем, думал, что больше скажу). Да ведь ты и сама хотела, чтоб я пошел, ну вот и буду сидеть в тюрьме, и сбудется твое желание; ну чего ж ты плачешь? И ты тоже? Перестань, полно; ох, как мне это всё тяжело!

Чувство, однако же, родилось в нем; сердце его сжалось, на нее глядя. «Эта-то, эта-то чего? — думал он про себя, — я-то что ей? Чего она плачет, чего собирает меня, как мать или Дуня? Нянька будет моя!»

— Перекрестись, помолись хоть раз, — дрожащим, робким голосом попросила Соня.

— О, изволь, это сколько тебе угодно! И от чистого сердца, Соня, от чистого сердца...

Ему хотелось, впрочем, сказать что-то другое.

Он перекрестился несколько раз. Соня схватила свой платок и накинула его на голову. Его вдруг поразило то, что Соня хочет уйти вместе с ним.

— Что ты! Ты куда? Оставайся, оставайся! Я один, — вскричал он в малодушной досаде и, почти озлобившись, пошел к дверям. — И к чему тут целая свита! — бормотал он, выходя.

Соня осталась среди комнаты. Он даже и не простился с ней, он уже забыл о ней; одно язвительное и бунтующее сомнение вскипело в душе его.

«Да так ли, так ли всё это? — опять-таки подумал он, сходя с лестницы, — неужели нельзя еще остановиться и опять всё переправить... и не ходить?»

Но он все-таки шел. Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего себе задавать вопросы. Выйдя на улицу, он вспомнил, что не простился с Соней, что она осталась среди комнаты, в своем зеленом платке, не смея шевельнуться от его окрика, и приостановился на миг. В то же мгновение вдруг одна мысль ярко озарила его, — точно ждала, чтобы поразить его окончательно.

«Ну для чего, ну зачем я приходил к ней теперь? Я ей сказал: за делом; за каким же делом? Никакого совсем и не было дела! Объявить, что *иду*; так что же? Экая надобность! Люблю, что ли, я

ее? Ведь нет, нет? Ведь вот отогнал ее теперь, как собаку. Крестов, что ли, мне в самом деле от нее понадобилось? О, как низко упал я! Нет, — мне слез ее надобно было, мне испуг ее видеть надобно было, смотреть, как сердце ее болит и терзается! Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть! И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец, подлец!»

Он шел по набережной канавы, и недалеко уж оставалось ему. Но, дойдя до моста, он приостановился и вдруг повернул на мост, в сторону, и прошел на Сенную.

Он жадно осматривался направо и налево, всматривался с напряжением в каждый предмет и ни на чем не мог сосредоточить внимания; всё выскользало. «Вот чрез неделю, чрез месяц меня провезут куда-нибудь в этих арестантских каретах по этому мосту, как-то я тогда взгляну на эту канаву, — запомнить бы это? — мелькнуло у него в голове. — Вот эта вывеска, как-то я тогда прочту эти самые буквы? Вот тут написано: „Товарищество“, ну вот и запомнить это а, букву а, и посмотреть на нее чрез месяц, на это самое а: как-то я тогда посмотрю? Что-то я тогда буду ощущать и думать?.. Боже, как это всё должно быть низко, все эти мои теперешние... заботы! Конечно, всё это, должно быть, любопытно... в своем роде... (ха-ха-ха! об чем я думаю!) я ребенком делаюсь, я сам пред собою фанфарону; ну чего я стыжусь себя? Фу, как толкаются! Вот этот толстый — немец, должно быть, — что толкнул меня: ну, знает ли он, кого толкнул? Баба с ребенком просит милостыню, любопытно, что она считает меня счастливее себя. А что, вот бы и подать для курьезу. Ба, пятак уцелел в кармане, откуда? На, на... возьми, матушка!»

— Сохрани тебя Бог! — слышался плачевный голос нищей.

Он вошел на Сенную. Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом, но он шел именно туда, где виднелось больше народу. Он бы дал всё на свете, чтоб остаться одному; но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один. Он отошел наконец, даже не помня, где он находится; но когда дошел до середины площади, с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего — с телом и мыслию.

Он вдруг вспомнил слова Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух: „Я убийца!“». Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Всё разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю...

Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю, с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз.

— Ишь нахлестался! — заметил подле него один парень.

Раздался смех.

— Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает, — прибавил какой-то пьяненький из мещан.

— Парнишка еще молодой! — ввернул третий.

— Из благородных! — заметил кто-то солидным голосом.

— Ноне их не разберешь, кто благородный, кто нет.

Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольникову, и слова «я убил», может быть, готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем. Он спокойно, однако ж, вынес все эти крики и,

не озираясь, пошел прямо чрез переулок по направлению к конторе. Одно видение мелькнуло пред ним дорогой, но он не удивился ему; он уже предчувствовал, что так и должно было быть. В то время, когда он, на Сенной, поклонился до земли в другой раз, оборотившись влево, шагах в пятидесяти от себя, он увидел Соню. Она пряталась от него за одним из деревянных барачков, стоявших на площади, стало быть, она сопровождала всё его скорбное шествие! Раскольников почувствовал и понял в эту минуту, раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки и пойдет за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Всё сердце его перевернулось... но — вот уж он и дошел до рокового места...

Он довольно бодро вошел во двор.

Похолодев и чуть-чуть себя помня, отворил он дверь в контору. На этот раз в ней было очень мало народу, стоял какой-то дворник и еще какой-то простолоудин. Сторож и не выглядывал из своей перегородки. Раскольников прошел в следующую комнату. «Может, еще можно будет и не говорить», — мелькало в нем. Тут одна какая-то личность из писцов, в приватном сюртуке, прилаживалась что-то писать у бюро. В углу усаживался еще один писарь.

— Никого нет? — спросил было Раскольников, обращаясь к личности у бюро. — Я... очень рад... до свидания-с... — улыбался Раскольников.

Он вышел; он качался. Голова его кружилась. Он не чувствовал, стоит ли он на ногах. Он стал сходить с лестницы, упиравшись правою рукой об стену.. Он сошел вниз и вышел во двор. Тут на дворе, недалеко от выхода, стояла бледная, вся помертвевшая, Соня и дико, дико на него посмотрела. Он остановился перед нею. Что-то больное и измученное выразилось в лице ее, что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его устах. Он постоял, усмехнулся и повернул наверх, опять в контору.

Раскольников опустил на стул, но не спускал глаз с лица весьма неприятно удивленного Ильи Петровича. Оба с минуту смотрели друг на друга и ждали. Принесли воды.

— Это я... — начал было Раскольников.

— Выпейте воды.

Раскольников отвел рукой воду и тихо, с расстановками, но внятно проговорил:

*Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором, и ограбил.*

Илья Петрович раскрыл рот. Со всех сторон сбежались.

Раскольников повторил свое показание.

.....

Сибирь. На берегу широкой, пустынной реки стоит город, один из административных центров России; в городе крепость, в крепости острог. В остроге уже девять месяцев заключен ссыльно-каторжный второго разряда, Родион Раскольников. Со дня преступления его прошло почти полтора года.

Судопроизводство по делу его прошло без больших затруднений.

Пять месяцев спустя после явки преступника с повинной последовал его приговор. С Соней он был почему-то особенно неговорлив во всё время. Соня, с помощью денег, оставленных ей Свидригайловым, давно уже собралась и изготовилась последовать за партией арестантов, в которой будет отправлен и он. Об этом никогда ни слова не было упомянуто между ею и Раскольниковым; но оба знали, что это так будет.

Раскольников долго не знал о смерти матери, хотя корреспонденция с Петербургом установилась еще с самого начала водворения его в Сибири. Устроилась она чрез Соню, которая аккуратно каждый

месяц писала в Петербург. Письма Сони были наполняемы самою обыденною действительностью, самым простым и ясным описанием всей обстановки каторжной жизни Раскольникова.

. Соня непрерывно сообщала, что он постоянно угрюм, несловоохотлив и даже почти нисколько не интересуется известиями, Она сообщала, между прочим, что, несмотря на то, что он, по-видимому, так углублен в самого себя и ото всех как бы заперся, — к новой жизни своей он отнесся очень прямо и просто. Он ходит на работы, от которых не уклоняется и на которые не напрашивается. К пище почти равнодушен, но что эта пища, кроме воскресных и праздничных дней, так дурна, что наконец он с охотой принял от нее, Сони, несколько денег, чтобы завести у себя ежедневный чай; насчет всего же остального просил ее не беспокоиться, уверяя, что все эти заботы о нем только досаждают ему.. Соня прямо писала, что он, особенно вначале, не только не интересовался ее посещениями, но даже почти досадовал на нее, был несловоохотлив и даже груб с нею, но что под конец эти свидания обратились у него в привычку и даже чуть не в потребность, так что он очень даже тосковал, когда она несколько дней была больна и не могла посещать его. Видится же она с ним по праздникам у острожных ворот или в кордегардии, куда его вызывают к ней на несколько минут; по будням же на работах, куда она заходит к нему, или в мастерских, или на кирпичных заводах, или в сараях на берегу Иртыша. Про себя Соня уведомляла, что ей удалось приобрести в городе даже некоторые знакомства и покровительства; что она занимается шитьем, и так как в городе почти нет модистки, то стала во многих домах даже необходимою; не упоминала только, что чрез нее и Раскольников получил покровительство начальства, что ему облегчаемы были работы, и прочее. Наконец пришло известие, что он всех чуждается, что в остроге каторжные его не полюбили; что он молчит по целым дням и становится очень бледен. Вдруг, в последнем письме, Соня написала, что он заболел весьма серьезно и лежит в госпитале, в арестантской палате...

Он был болен уже давно; но не ужасы каторжной жизни, не работы, не пища, не бритая голова, не лоскутное платье сломили его: о! что ему было до всех этих мук и истязаний! Напротив, он даже рад был работе: измучившись на работе физически, он по крайней мере добывал себе несколько часов спокойного сна. И что значила для него пища — эти пустые щи с тараканами? Студентом, во время прежней жизни, он часто и того не имел. Платье его было тепло и приспособлено к его образу жизни. Кандалов он даже на себе не чувствовал. Стыдиться ли ему было своей бритой головы и половинчатой куртки? Но пред кем? Пред Соней? Соня боялась его, и пред нею ли было ему стыдиться?

А что же? Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил за это своим презрительным и грубым обращением. Но не бритой головы и кандалов он стыдился: его гордость сильно была уязвлена; он и заболел от уязвленной гордости. О, как бы счастлив он был, если бы мог сам обвинить себя! Он бы снес тогда всё, даже стыд и позор. Но он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого *промаху*, который со всяким мог случиться. Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слепой судьбы, и должен смириться и покориться пред «бесмыслицей» какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя.

Тревога беспредметная и бесцельная в настоящем, а в будущем одна непрерывная жертва, которую ничего не приобреталось, — вот что предстояло ему на свете. И что в том, что чрез восемь лет ему будет только тридцать два года и можно снова начать еще жить! Зачем ему жить? Что иметь в виду? К чему стремиться? Жить, чтобы существовать? Но он тысячу раз и прежде готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Одного существования всегда было мало ему; он всегда хотел большего. Может быть, по одной только силе своих желаний он и счел себя тогда человеком, которому более разрешено, чем другому.

И хотя бы судьба послала ему раскаяние — жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут! О, он бы обрадовался ему!

Муки и слезы — ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении.

По крайней мере, он мог бы злиться на свою глупость, как и злился он прежде на безобразные и глупейшие действия свои, которые довели его до острога. Но теперь, уже в остроге, *на свободе*, он вновь обсудил и обдумал все прежние свои поступки и совсем не нашел их так глупыми и безобразными, как казались они ему в то роковое время, прежде.

Ну чем мой поступок кажется им так безобразен? — говорил он себе. — Тем, что он — злодеяние? Что значит слово „злодеяние“? Совесть моя спокойна. Конечно, сделано уголовное преступление; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну и возьмите за букву закона мою голову... и довольно! Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому *они правы*, а я не вынес и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг».

Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною.

Он страдал тоже от мысли: зачем он тогда себя не убил? Зачем он стоял тогда над рекой и предпочел явку с повинною? Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти?

Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь.

Он скорее допускал тут одну только тупую тягость инстинкта, которую не ему было порвать и через которую он опять-таки был не в силах перешагнуть (за слабостью и ничтожностью). Он смотрел на каторжных товарищей своих и удивлялся: как тоже все они любили жизнь, как они дорожили ею! Именно ему показалось, что в остроге ее еще более любят и ценят, и более дорожат ею, чем на свободе. Каких страшных мук и истязаний не перенесли иные из них, например бродяги! Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца, дремучий лес, где-нибудь в неведомой глуши холодный ключ, отмеченный еще с третьего года и о свидании с которым бродяга мечтает, как о свидании с любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте? Всматриваясь дальше, он видел примеры, еще более необъяснимые.

В остроге, в окружающей его среде, он, конечно, многого не замечал, да и не хотел совсем замечать. Он жил, как-то опустив глаза: ему омерзительно и невыносимо было смотреть. Но под конец многое стало удивлять его, и он, как-то поневоле, стал замечать то, чего прежде и не подозревал. Вообще же и наиболее стала удивлять его та страшная, та непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом. Казалось, он и они были разных наций. Он и они смотрели друг на друга недоверчиво и неприязненно. Он знал и понимал общие причины такого разъединения; но никогда не допускал он прежде, чтоб эти причины были на самом деле так глубоки и сильны. В остроге были тоже ссыльные поляки, политические преступники. Те просто считали весь этот люд за невежд и хлопов и презирали их свысока; но Раскольников не мог так смотреть: он ясно видел, что эти невежды во многом гораздо умнее этих самых поляков. Были тут и русские, тоже слишком презиравшие этот народ, — один бывший офицер и два семинариста; Раскольников ясно замечал и их ошибку.

Его же самого не любили и избегали все. Его даже стали под конец ненавидеть — почему? Он не знал того. Презирали его, смеялись над ним, смеялись над его преступлением те, которые были гораздо его преступнее.

— Ты барин! — говорили ему. — Тебе ли было с топором ходить; не барское вовсе дело.

На второй неделе великого поста пришла ему очередь говеть вместе с своей казармой. Он ходил в церковь молиться вместе с другими. Из-за чего, он и сам не знал того, — произошла однажды ссора; все разом напали на него с остервенением.

— Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! — кричали ему. — Убить тебя надо.

Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его как безбожника; он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился было на него в решительном исступлении; Раскольников ожидал его спокойно и молча: бровь его не шевельнулась, ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успел вовремя стать между ним и убийцей — не то пролилась бы кровь.

Неразрешим был для него еще один вопрос: почему все они так полюбили Соню? Она у них заискивала; встречали они ее редко, иногда только на работах, когда она приходила на одну минутку, чтобы повидать его. А между тем все уже знали ее, знали и то, что она *за ним* последовала, знали, как она живет, где живет. Денег она им не давала, особенных услуг не оказывала. Раз только, на Рождестве, принесла она на весь острог подаяние: пирогов и калачей. Но мало-помалу между ними и Соней завязались некоторые более близкие отношения: она писала им письма к их родным и отправляла их на почту. Их родственники и родственницы, приезжавшие в город, оставляли, по указанию их, в руках Сони вещи для них и даже деньги. Жены их и любовницы знали ее и ходили к ней. И когда она являлась на работах, приходя к Раскольникову, или встречалась с партией арестантов, идущих на работы, — все снимали шапки, все кланялись: «Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная!» — говорили эти грубые, клейменные каторжные этому маленькому и худенькому созданию. Она улыбалась и откланивалась, и все они любили, когда она им улыбалась. Они любили даже ее походку, оборачивались посмотреть ей вслед, как она идет, и хвалили ее; хвалили ее даже за то, что она такая маленькая, даже уж не знали, за что похвалить. К ней даже ходили лечиться.

Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреде. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшестввовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спасти во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и



нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса.

Раскольников мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячешных грез. Шла уже вторая неделя после Святой; стояли теплые, ясные, весенние дни; в арестантской палате отворили окна (решетчатые, под которыми ходил часовой). Соня, во всё время болезни его, могла только два раза его навестить в палате; каждый раз надо было испрашивать разрешения, а это было трудно. Но она часто приходила на госпитальный двор, под окна, особенно под вечер, а иногда так только, чтобы постоять на дворе минутку и хоть издали посмотреть на окна палаты. Однажды, под вечер, уже совсем почти выздоровевший Раскольников заснул; проснувшись, он нечаянно подошел к окну и вдруг увидел вдаль, у госпитальных ворот, Соню. Она стояла и как бы чего-то ждала. Что-то как бы пронзило в ту минуту его сердце; он вздрогнул и поскорее отошел от окна. В следующий день Соня не приходила, на третий день тоже; он заметил, что ждет ее с беспокойством. Наконец его выписали. Придя в острог, он узнал от арестантов, что Софья Семеновна заболела, лежит дома и никуда не выходит.

Он был очень беспокоен, посылал о ней справляться. Скоро узнал он, что болезнь ее не опасна. Узнав в свою очередь, что он об ней так тоскует и заботится, Соня прислала ему записку, написанную карандашом, и уведомяла его, что ей гораздо легче, что у ней пустая, легкая простуда и что она скоро, очень скоро, придет повидаться с ним на работу. Когда он читал эту записку, сердце его сильно и больно билось.

День опять был ясный и теплый. Ранним утром, часов в шесть, он отправился на работу, на берег реки, где в сарае устроена была обжигательная печь для алебаstra и где толкли его. Отправилось туда всего три работника. Один из арестантов взял конвойного и пошел с ним в крепость за каким-то инструментом; другой стал изготавливать дрова и накладывать в печь. Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь; мысль его переходила в грезы, в созерцание; он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила.

Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный, старый бурнус и зеленый платок. Лицо ее еще носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновению, робко протянула ему свою руку.

Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку, всегда точно с досадой встречал ее, иногда упорно молчал во всё время ее посещения. Случалось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались; он мельком и быстро взглянул на нее, ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни, их никто не видел. Конвойный на ту пору отворотился.

Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и всё лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она всё поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее и что настала же наконец эта минута...

Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы;

но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого.

Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья! Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она — она ведь и жила только одною его жизнью!

Вечером того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольников лежал на нарах и думал о ней. В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные, бывшие враги его, уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. Он припомнил теперь это, но ведь так и должно было быть: разве не должно теперь все измениться?

Он думал об ней. Он вспомнил, как он постоянно ее мучил и терзал ее сердце; вспомнил ее бледное, худенькое личико, но его почти и не мучили теперь эти воспоминания: он знал, какою бесконечною любовью искупит он теперь все ее страдания.

Да и что такое эти все, *все* муки прошлого! Всё, даже преступление его, даже приговор и ссылка, казались ему теперь, в первом порыве, каким-то внешним, странным, как бы даже и не с ним случившимся фактом. Он, впрочем, не мог в этот вечер долго и постоянно о чем-нибудь думать, сосредоточиться на чем-нибудь мыслью; да он ничего бы и не разрешил теперь сознательно; он только чувствовал. Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое.

Под подушкой его лежало Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал.

Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: «Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления, по крайней мере...»

Она тоже весь этот день была в волнении, а в ночь даже опять захворала. Но она была до того счастлива, что почти испугалась своего счастья. Семь лет, *только* семь лет! В начале своего счастья, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней. Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим, будущим подвигом...

Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, — но теперешний рассказ наш окончен.